

Листопадовый чин

Слышишь, время скудеет в часах и плывет в водостоке,
что на западе здесь, что на мной позабытом востоке,
не умеет мерцать, как и твой чароит в волосах,
неподвижно.

Хоть наши настенные в общем итоге
не продвинулись дальше,
чем ваза, тарелка, мускат.

Мы ловили диковинный ход на барочном фронтоне,
будто улица Герцена делает время фартовой,
и судьба,
словно вензель, на стрелке минутной висит.

Мы кружили среди механизмов часов и часовен
и гадали на пальцах: в Дали циферблат нарисован
или это Корнелиус водит руками вблизи?

Мы не знали, что время покоится в мрачной капелле,
отбирающей жизни, покуда они не успели,
и наперсникам мрака вручает сердца как гранат.
Мне ведь тоже иссохшие губы обрызгало соком,
хорошо, что морковным, с указанной датой и сроком.

Значит, можно гадать наперед,
возвращаясь назад.

Так треугольник и возник
на обозначенных вершинах.
От рук скрещенных –
напрямик,
вдоль Листопадового чина,
где и древесную кору
свело соленою фактурой
камней, прожженных на юру
за преданность святому Юру.

От вкуса кофе на губах,
воспламененного на крыше —
до связки выскобленных плах,
видавших все
и позабывших.
Но только выдохнешь «мой бог»,
подстережет «бог из машины».
И рвешься вдоль и поперек
до третьей,
зреющей, вершины.

Не верь настенным и песочным
когда витийствует сверчок,
и распорядок дня и ночи
его бессоннице вручен.
С ночной воздушной кантилены,
с дыханья,
сбитого в форшлаг
от темных очерков колена –
до смужек света на висках
и в тайной линии нагрудной,
и на браслете завитом,
и в пальцах, трогающих губы,
как увертюру – камертон.

И вдруг зазвучали опять под сурдинку
песчаники или гранит,
божественный ворох цветных фотоснимков
на сизый слетел краевид.
Струятся фонтаны, лучатся витрины,
и мнится, что запах коней
волнует облупленный нос Амфитриты
шафранного духа верней.
Но мне-то известно, что знать не пристало
ни оттискам, ни словарям.
И даже зрачок, оснащенный зеркалом,
чернеет за окнами зря.
По раме скользнет и уйдет по карнизу,
боясь обернуться назад,
когда между серым блуждает и мглистым
почти безоружный твой взгляд.

Здесь все в клубок: повозки и трамваи,
о край пилона чиркающий эркер,
и в сумеречной влаге созревает
голгофа во дворе армянской церкви –
игрушка, а не жизнь.
Реальной кофе
нет ничего, объекты растворимы:
цукерня, кофемолка, сытый профиль
Тараса на тарелке, пилигримы
с фарфоровыми нежными горбами,
австрийские кирпичные шкатулки,
нарезанные дробными кусками
фасады шоколадных переулков,
позеленевший котелок собора,
блестящий купол кумпеля,
но прежде –
обычная скамейка, на которой
тебя встречаю с утренней пробежки.
...Мы даже онемели до поры,
зайдя на энный уровень игры.

Теперь и нашей речи за столом
разгул не громче падающих листьев.
Вот-вот и рак на блюде пересвистнет,
и ложка двинет горлом напролом,
и тень забудет стену или дом,
и мнимый свет забудет или присный.
Тут что-то, без сомнения, не так,
и гривенник катился, и пятак
под плинтус и в расщелины асфальта —
бывают ли надежней якоря.
Мы ставили по многу раз подряд
на красное, блефуя винной картой.
Выигрывали улицу и день,
пока сезон надежд не оскудел,
пока хранили вещи очертанья
и запах, и общиннический дух.
И так легко казалось думать вслух,
что будет вслед за тем,
что было с нами.

Уже и новою враждой отколот краешек любви,
а ты в облоге долговой со мною рядом поживи,
тебе впервые принимать поочередно яд и мед.
И подоконник, и кровать качнутся в воздухе вот-вот,
и поведет ночная дрожь вдоль черепичного хребта
и торцевых фасадов сплошь —
к парадным путаным кутам.
И за метлахскою чертой, в уме рассчитывая Рим
на третий первый и второй,
ни звука не проговорим.
Уйдем, целуясь невпопад через порог или строку,
пока не сорван листопад по календарному листку —
в оштукатуренный фантом с ложноклассическим окном,
и позабудем, где Адам,
и не узнаем, где Франко.

Будто Левова доля сорвется с осин –
в гуще запаха, в токе желанного жара
вдруг листок пожелтелый уколется,
засим

только воздух не будет закатан в спи жарках
в трехлитровую меру, в дубовую прель,
в тридесятую склянку тягучего меда.

Забирай этот воздух с собою и пей
за дымящийся в кокиле слиток свободы,
за поруганный облик осадных мортир
в очертанье и гуле блошиного рынка,
за оставленный временем пыльный пунктир
отшумевших кофейников и грампластинок.

За гремучую доблесть и тонкую лесть,
за удушливый запах акаций и сбруи.
Будто Левовым рыком сорвало с небес
переспелые тучи, и слезы, и струи.